

Б. Ю. Норман

К СООТНОШЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОЙ И СИГМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЛАНЕ СОДЕРЖАНИЯ СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

В ходе развития лингвистической семантики представление о структуре плана содержания языкового знака менялось, усложнялось. Как известно, у основателя семиотики Ч. Морриса теория знака складывалась из трех частей: семантики, т. е. отношения знаков к объектам, синтактики, т. е. отношений между знаками, и прагматики, т. е. отношения между знаками и говорящим (см. [Моррис 1983]). Это можно представить в виде следующей схемы:

СХЕМА 1



Нетрудно показать на примерах, что эти аспекты значения слова автономны, независимы друг от друга.

Возьмем, скажем, крупные кровеносные сосуды. Если не довольствоваться народным, наивно-медицинским названием *жилы* (*В его жилах течет благородная кровь; жилы на руках вздулись* и т. п.), то следует различать артерии и вены. Первые несут кровь от сердца к органам, вторые — от органов к сердцу. И неважно то, что какое-то из этих слов более частотно или же более «научно», чем другое, или то, что у слова *артерия* в некоторых контекстах реализуются переносные значения (*транспортные артерии* и т. п.). Независимо от этих особенностей, различия в номинациях определяются различиями в предметах, т. е., по Моррису, относятся к сфере семантики.

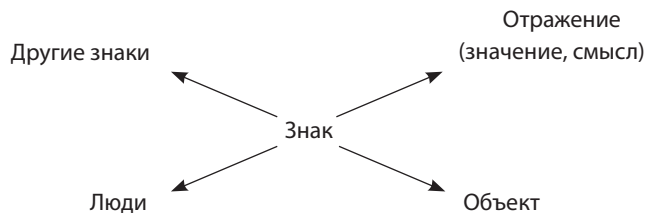
Другой пример. Предназначенность транспортного средства для перевозки грузов выражается по-русски по-разному в зависимости от того, о каком транспорте идет речь. О поезде мы скажем — *товарный*, о самолете — *транспортный*, об автомобиле — *грузовой*. Выбор конкретного прилагательного определяется здесь более всего отношением слова к другим словам, их комбинаторикой (синтактикой). При этом, добавим, ни один из этих атрибутов не подходит для корабля, перевозящего грузы: там придется выбирать из субстантивного ряда *сухогруз, танкер, баржа* и т. п.

А про человека, отрицающего существование Бога, можно сказать: *неверующий, атеист, безбожник, нехристь*... При этом мы чувствуем, как в приведенных названиях последовательно нарастает отрицательная оценка, которую говорящий дает этому человеку. Получается, что выбор конкретного слова зависит здесь не столько от самого объекта, сколько от отношения к нему. Это сфера прагматики.

(Заметим, что, анализируя прагматический аспект значения, исследователи чаще говорят не об отношении знака к человеку, а об отношении человека к знаку. Но подмены понятий здесь нет. Дело в том, что само понятие «отношение» не остается неизменным, оно наполняется разным содержанием в зависимости от того, об отношениях между какими сущностями идет речь. Если отношение знака к предмету исчерпывается отражением этого предмета, то уже связь знака с понятием и связь знака с другими знаками не остается такой однонаправленной: отношение рождает встречное отношение. Тем более это очевидно, когда мы говорим о прагматическом аспекте: отношение знака к говорящему автоматически подразумевает многообразное отношение говорящего к знаку, реализующееся в особенностях употребления последнего.)

Но вернемся к структуре плана содержания по Ч. Моррису. Во второй половине XX в. эта схема подверглась пересмотру и дополнению. В частности, стало ясно, что отношения между знаками складываются не только в плане синтагматики, но и в плане парадигматики, поэтому есть основания наряду с синтактикой выделять аспект, определяющий положение знака в системе, и это и есть смысл знака. Так поступал, например, немецкий философ языка Г. Клаус [Клаус 1967: 17]. Вот его схема:

СХЕМА 2

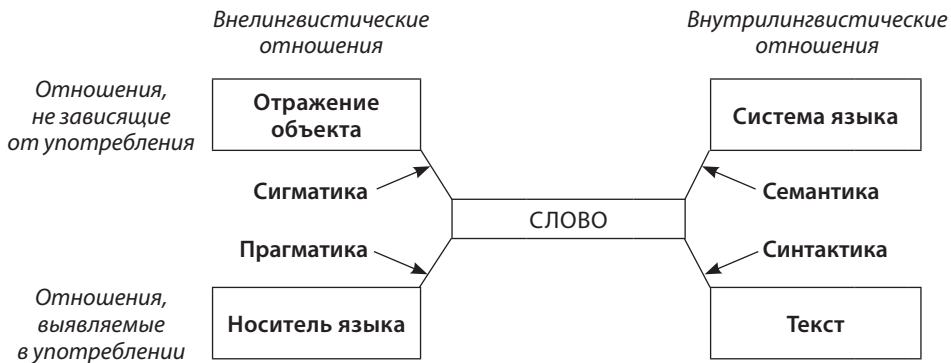


Отношение к другим знакам здесь — это синтактика, отношение к людям — прагматика, отношение к значению (смыслу) — семантика. Наряду с синтактикой, прагматикой и семантикой, Г. Клаус выделяет еще четвертый аспект плана содержания: сигматику. Тем самым он различает отражение знака в нашем сознании — это составляет содержание семантики — и отношение знака к самому объекту, или референту, — это и есть сигматика.

В дальнейшем и эта схема была усовершенствована в соответствии с основополагающей оппозицией «язык — речь». Получилось, что содержательные компоненты слова (типичного знака) организуются по двум осям, как бы по двум водоразделам: «отношения, не зависящие от употребления — отношения, зависящие от употребления» и «внутрилингвистические отношения — внелингвистические отношения».

Новую схему 3 следует читать так: «Прагматический и синтаксический аспекты касаются использования, употребления слова. В то же время семантический и сигматический аспекты характеризуют слово безотносительно к его непосредственному использованию. Прагматика и сигматика характеризуют слово со стороны его внелингвистических связей, а семантика и синтактика — со стороны его внутрилингвистических особенностей» [Супрун 1975: 14].

СХЕМА 3



Правда, надо признать, что разграничение семантического и прагматического аспектов не столь уж очевидно, как это кажется на первый взгляд (см.: [Vaňková 1999: 289—291; Bogusławski 2008: 23—26 и др.]). Но наибольшие сомнения вызывает положение в этом ряду сигматики. Как известно, некоторые лингвисты считают, что отношение знака к обозначаемому предмету в принципе лежит за пределами собственно лингвистической проблематики. «Прежде всего, мы можем вообще исключить референт, — писал С. Ульман. — Языковед занимается словами, а не предметами» [Ullmann 1951: 32]. Однако для нас сигматика представляет интерес хотя бы в силу ее связей с семантикой. Именно взаимоотношения между данными аспектами языкового знака и будут предметом данной статьи.

Дело в том, что каждая сема, входящая в состав лексического значения, мотивирована определенным аспектом (или аспектами), определенным отношением знака — то ли к предмету, то ли к человеку, то ли к другим знакам (в парадигматике и в синтагматике). В нормальном случае семантическая и сигматическая информация взаимодействуют, «поддерживают» друг друга. Вкупе они определяют то, что в последние десятилетия принято именовать языковой картиной мира. Поскольку же языковую картину мира очень часто соотносят или даже совмещают с наивной (обыденной) картиной мира [Апресян 1986: 5; 1995: 37—39; Мечковская 2005 и др.]), то об этих мыслительных категориях следует поговорить подробнее.

Было бы сильным упрощением напрямую сводить наивную картину мира к отражению системы референтов (по-другому: реалий, объектов), а языковую — к обобщению системы понятий. Однако можно утверждать, что доля сигматической и семантической информации в этих двух «картинах мира» различна. Наивная картина мира отражает в основном опыт практической деятельности, основанный на сенсорных данных (визуальных, тактильных, моторных и иных ощущениях). Она действительно соотносится с сигматическим аспектом знака и при этом не обязательно учитывает семантическую информацию. Возможно, наивная картина мира складывается на основе той системы чувственных образов, которая в терминологии Н. И. Жинкина получила название «универсальный предметный код». Проведенные ученым многочисленные эксперименты подтверждали связь внутренней речи с данными практического опыта: «Предметная отнесенность конкретной лексики входит в универсальный код (УПК), в его основное требование» [Жинкин 1982: 95].

Что же касается языковой картины мира, то она формируется именно как систематизация семантической информации и «может себе позволить» отвлекаться от данных практического опыта. Короче говоря, с нашей точки зрения, наивные и языковые знания в определенной мере самостоятельны и не полностью покрывают друг друга; это — пересекающиеся понятия. Иными словами, не любое наивное знание является «языковленным», и не любое языковое знание имеет соответствие в сфере обыденного опыта.

В частности, известно, что многие фрагменты наивного знания плохо вербализуются; это значит — для них нет специальных словесных обозначений. Каждый человек, который держал в руках книгу, хорошо знает такие ее структурные компоненты, как страница, оглавление, обложка (или переплет), корешок, титульный лист. Известны ему, как правило, и соответствующие названия. О других же компонентах книги — таких как форзац, шмуцтитул, колонтитул, буквица, спуск, обрез и т. п. — он имеет только наглядное (зрительное) представление. Они составляют образ книги, входящий в обыденное знание. А названия этих специальных деталей (и соответствующие понятия) известны только профессионалу — библиотечному, издательскому или типографскому работнику.

Вообще носителя языка окружает масса хорошо знакомых ему предметов, которые не имеют своего наименования. При необходимости они могут получить опи-

сательное название или же быть обозначены с помощью гиперонимических субститутов типа рус. *вещь, штучка, фиговина, железяка* и т. п.

Приведем вполне реальный пример. Один российский профессор, работая в Польше, купил в магазине ботинки. Ботинки были очень хорошие, известной фирмы, но буквально через пару дней в них обнаружился дефект. Несколько металлических окантовочек («кружочков») для дырочек, через которые проходят шнурки, вылетели из своих гнезд. Коллега пошел в магазин и попытался объяснить, что произошло. Но по-польски он говорил плохо, продавец его не понял. На следующий день профессор принес с собой ботинки и ткнул пальцем в дефект. «А-а, — обрадовался продавец, — *oczki!* Конечно, заменим!» По-русски, кстати, эти элементы обуви называются *блочками*. Но данное название известно сапожникам или галантерейщикам и совершенно неведомо обычному человеку, неспециалисту. Хотя сам предмет, так сказать, на виду, мы каждый день с ним сталкиваемся!

Мы провели небольшой эксперимент. Ста носителям русского языка, в возрасте от 20 до 50 лет, было предложено: «Назовите составные части обуви. Из чего состоят туфли, ботинки и т. д.?» На выполнение задания отводилось примерно 10 минут. В общей сложности было получено более 100 номинаций (в основном однословных, но встречались также составные, дву- или даже трехсловные, названия). Безусловными лидерами по частоте «выделяемости» оказались такие элементы обуви, как *подошва* (названа 98 испытуемыми), *каблук* (93), *шнурок* (88). Затем идут *стелька* (57), *голенщице, замок* и *носок* (все — по 33), *набойка* (29), *кожа* (26) и т. д. Упоминались среди составных частей даже такие экзотические предметы, как *стразы, шипы, шпоры, кисточки на шнурках, бирка* и т. п. Но ни один из участников эксперимента не назвал металлических кружочков, окаймляющих отверстия для шнурков. Возможно, причина не только в их «маловажности», но и в отсутствии в русском языке соответствующего (специального) наименования. Получалось, что то, что не названо, — как бы не существует, во всяком случае, недостойно быть предметом внимания. Стоит процитировать здесь еще раз Н. И. Жинкина: «Любая вещь, даже воображаемая, к какой бы области сенсорики она ни относилась, может стать заметной только если имеет имя» [Жинкин 1982: 95]. Одна из участниц эксперимента уже постфактум прокомментировала свои ответы так: «Это интересно. Я как раз месяц назад хотела купить сапожки для своей дочурки. И очень хорошо представляла себе, что я хочу, что там должно быть. Но я совершенно не могла бы это выразить словами!»

Это вполне соответствует так называемой слабой версии гипотезы лингвистической относительности. Уместно в очередной раз привести здесь слова Б. Л. Уорфа: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (...) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [Уорф 1960: 174].

Зрительные, тактильные и прочие сенсорные ощущения и представления могут объединяться в довольно сложные комплексы — динамические стереотипы, которые регулируют поведение человека во многих практических ситуациях (см.: [Гусев, Пушканский 1994: 10—11]) и, тем не менее, с трудом находят себе вербальное воплощение. Так, нелегко описать словами процесс чистки картофелины, завязывания шнурков на ботинках или тем более сборки кубика Рубика...

Строго говоря, наличие одного только сигматического аспекта может быть достаточным для полноценного функционирования языкового знака. Классический случай здесь — имена собственные, для которых обязательна привязанность к конкретному референту, и в то же время семантическая информация, содержащаяся в них, близка к нулю (ср. антропонимы типа *Осипов* и топонимы типа *Каменка*).

Сигматический аспект значения демонстрирует свою силу и в ходе развития лексического значения, когда слово вступает в связь с несколькими референтами. Скажем, русское существительное *вешалка* обозначает несколько принципиально разных предметов: а) крючок или целую стойку с крючками, на которые вешают одежду; б) приспособление в виде горизонтальной планки, имитирующее человеческие плечи (синоним: *плечики*); в) тесемку в виде петли на воротнике верхней одежды и т. д. — и в каждом случае за словом стоит соответствующий образ предмета и динамический стереотип, обобщающий опыт обращения с этим предметом. Семантическая же информация, заключенная в слове *вешалка*, носит довольно размытый, обобщенный характер: это «то, на что (или за что) вешают одежду».

Другой пример. У слова *веер* есть прочная, надежная сигматическая отнесенность (подкрепляемая сенсорными представлениями). Но семантика этого слова, образуемая компонентами ‘жара’, ‘воздух’, ‘махать’ (а также ‘дама’, ‘прохлада’ и т. п.), оказывается «бесполезной» при его переносном употреблении: ср. *веер искр*, *веер возможностей*, *стрелять веером* (охватывая определенный сектор), *веерное* (т. е. последовательное) *отключение электроэнергии* и т. п. В основе вторичных значений лежат именно зрительный и моторный образы.

В то же время лингвистам хорошо известны и случаи, когда значение слова исчерпывается его семантическим компонентом, а сигматический компонент сильно размыт, ослаблен или вовсе отсутствует. Если не повторяться, говоря здесь о лексических фантомах, словах типа рус. *русалка* или *колобок* (их денотативное содержание образуется комбинацией реальных референтных признаков), то стоило бы вспомнить о так называемых агнонимах (см.: [Морковкин, Морковкина 1997]). Значение агнонима представляется обычному человеку в чрезвычайно общем, приблизительном виде. Ему «знакомо» это слово, но в лучшем случае он способен отнести его к определенной тематической сфере; определить его значение он затрудняется.

Степень «агнонимичности» может быть, конечно, разной, но несомненно, что перед нами чрезвычайно важный феномен психологии и одновременно общественной жизни. Речь ведь не идет только о знакомстве или незнакомстве со специальными терминами, вроде *целибат* или *левиафан*, но вообще о различной степени «погруженности» человека в слово. Вспомним названия таких распростра-

ненных продуктов питания, как *халва, марципан, пастила, шербет, ливер, ряженка* и т. п., — семантика их строится почти исключительно на вкусовых ощущениях. Признаки типа «сладкое» (по сравнению с некоторым стандартом) или «мягкое, рассыпчатое» (опять-таки по сравнению с чем-то) исчерпывают собой почти всё знание о значении данных слов. Рядовой носитель языка очень часто не знает, ни из чего, ни каким способом эти продукты приготовлены. То же можно сказать о названиях множества «несъедобных» субстанций, активно используемых человеком. Значения слов типа *сургуч, пластилин, деготь, тальк* опираются на сигматику, но довольно трудно семантизируются носителем языка. Конечно, распространение подобного «полузнания», с одной стороны, обусловлено объективными процессами, протекающими в современном обществе: стандартизацией, урбанизацией, глобализацией и т. п. С другой стороны, за ним можно усмотреть перевес экспрессивной и апеллятивной функций (по К. Бюлеру) над репрезентативной. Воспользуемся двумя примерами из художественной литературы:

Здесь, под густыми вязами и дубами (а впрочем, понятия не имею, как называется вся эта флора — нам, городским жителям, это ни к чему) она и похоронена, та самая настоящая викторианская Англия... (Б. Акунин, Г. Чхартишвили. Кладбищенские истории).

— *А тебе, волюнтаристу, не налью.*

— *А что это такое: волюнтарист?*

— *А кто его знает? Да и никто не знает. Но тебе, волюнтаристу, я не налью (Вен. Ерофеев. Записные книжки).*

Ослабление сигматического аспекта знака (при относительной сохранности его семантики) может диктоваться культурно-историческими факторами. Подтвердим эту мысль одним любопытным свидетельством. Писатель Г. Бакланов вспоминал: «Помню, после войны мне попала польская газета на русском языке. Русские, которые жили в Польше, издавали газету на русском языке. Это был совершенно слепой язык: слова сохранились, а предметы, которые они означали, исчезли, их не было. Люди не видели эти предметы и писали слепыми словами» (Г. Бакланов. *Время собирать камни*). Сигматически опустошенные названия могут, таким образом, составлять целую систему, своего рода социолект.

Относительная независимость сигматики и семантики прослеживается в фактах **инерции названия**. Это случаи, когда реалья изменилась (т. е. исчезла и заменилась другой реальей), но понятие о ней еще какое-то время сохраняется; затем и оно может выветриться, сохраняясь в «этимологической памяти» слова. Известные примеры: трамвай в первое время называли *электрической конкой* (хотя лошади в перевозке пассажиров уже не участвовали). Электростанции, использующие энергию ветра, продолжают называть *ветряными мельницами* (хотя они ничего не мелют). Пакеты, изготовленные из полиэтилена, многие по привычке именуют *целлофановыми*, хотя целлофан и полиэтилен — совершенно разные искусственные материалы. В Болгарии после распада социалистической

системы появилась партия монархистов, и молодых сторонников этой партии называли... *царскими комсомольцами!* Во всех этих случаях референт принципиально изменился, но его денотативное преломление еще какое-то время сохраняется, и это отражается в языке.

Относительную независимость семантической составляющей от сигматической отнесенности знака можно показать также на примере выстраивания **гиперонимических отношений** между словами. Включение одного понятия в другое, одной категории в другую — то, что выглядит естественным и бесспорным применительно к научной таксономии, — здесь, в языке, теряет свою убедительность. Отношения рода и вида могут переворачиваться «с ног на голову» — естественно, при активном участии культурных факторов. Так, М. Гроховски продемонстрировал, что даже в трактовке таких, казалось бы, ясных и безусловных слов и понятий, как *вода* и *жидкость*, нас подстерегают неожиданности. В научной таксономии *вода* — разновидность жидкости; соответствующим образом строится и ее определение в энциклопедических словарях: «...жидкость без цвета, вкуса, запаха, H₂O...» и т. п. В языковой же картине мира жидкость характеризуется сравнительно большей степенью семантической сложности (*жидкость* — это «нечто, в состав которого входит вода...»), а вода принадлежит к числу первичных, неприводных понятий (см.: [Grochowski 1992: 72—73]).

Попробуем продемонстрировать условность формирования гиперонимических отношений в лексике на двух примерах из славянских языков (см.: [Норман 1996: 58—62]).

Пример первый: русские слова *сыр* и *брынза* и их эквиваленты в болгарском языке: *кашкавал* ‘сыр’ и *сирене* ‘брынза’. Приведем вначале словарные дефиниции русских слов, а затем болгарских.

Сыр — Пищевой продукт, в виде твердой и полутвердой массы, изготавливаемый из заквашиваемого особым способом молока [СРЯ IV: 326].

Брынза — Сыр из овечьего молока [СРЯ I: 119].

Кашкавал — Вид твердо овче сирене на жълти пити [РСБКЕ I: 595].

Сирене — 1. Само *ед.* Полутвърд хранителен продукт, добит от мляко... 2. Само *мн.* Видове сирене... [РСБКЕ III: 203].

Как следует из определений, лексемы *сыр* и *кашкавал*, а также *брынза* и *сирене*, равнозначны только на первый взгляд. На самом деле перед нами квазиэквиваленты. Дело в том, что для русскоязычного сознания слово *сыр* представляет собой гипероним: это обобщенное название ряда пищевых продуктов, получаемых путем свертывания молока и его дальнейшей обработки. Сыр бывает российский, голландский, костромской, пикантный, рокфор и т. д.; свое законное место в данном ряду занимает и брынза. Совершенно нетрудно представить себе ситуацию: где-нибудь в Москве или Ростове существует магазин «Сыр» (или «Сыры»), в ассортименте которого среди прочих продуктов числится и брынза. С точки зрения русского языка *брынза* — гипоним.

Для сознания носителя болгарского языка слово *сирене* — это не только видовое название продукта (получаемого рассольным способом из молока, прежде всего овечьего), но и обобщенное наименование целого рода пищевых продуктов. *Кашкавал* же для болгарина — некая особая разновидность *сирене*. Если попробовать перенести, «пересадить» на болгарскую почву приведенный выше пример с магазином, то можно сказать, что в Болгарии вполне естественно выглядела бы вывеска «Сирене» (или «Сиренета» — во множественном числе) над магазином, в котором среди прочих молочных изделий продавался бы продукт, называемый *кашкавал*. Это своеобразное перераспределение лексической семантики находит свое выражение в различных контекстах. Так, в болгарском еженедельнике «Паралели» (№ 27 за 1983 год) под фотографией, изображающей ярмарку знаменитых голландских сыров, был помещен следующий текст:

В СТРАНАТА НА СИРЕНЕТО. Холандия е известна не само със своите вятърни мелници, диги и лалета, но и с многото видове сирене. И тази година гостоприемните домакини показват своя деликатес на известния пазар за сирене в Алкмар пред туристи от цял свят.

Перевод: В СТРАНЕ СЫРА. Голландия известна не только своими ветряными мельницами, плотинами и тюльпанами, но и множеством видов сыра. И в этом году гостеприимные хозяйки демонстрируют свой деликатес на известном рынке сыров в Алькмааре перед туристами со всего мира.

Стоит пояснить: речь не идет об очередном случае передела семантического пространства между лексемами, находящимися на одном уровне понятийной категоризации. Речь идет о способности одной из этих лексем занять доминирующее положение по отношению к другому слову в лексической классификации. И решающим фактором в организации этих связей (в данном случае связей между русскими словами *сыр* и *брынза*, болгарскими *сирене* и *кашкавал*) оказываются особенности культуры, общественной практики. То, что сопровождает человека в его повседневной жизни, то есть привычное, **частое**, кажется для него естественным, нормальным, **типичным**. Типичное же воспринимается как представитель общего, категориального, **родового**. Поэтому то название, которое обозначает типичный денотат, имеет шанс выбиться в гиперонимы. Напомним: *ксерокс* (от названия фирмы Херох) стал синонимом вообще копировального аппарата, *žyletka* (от названия фирмы Gillette) по-польски значит вообще ‘бритвенное лезвие’, в болгарском словом *оксфорд* называют плотную хлопчатобумажную ткань (первоначально — английского происхождения) и т. п. Иными словами, развитие значения идет по пути от «частого» — через «типичное» — к «родовому». В то же время явление **редкое**, малоупотребительное, по большому счету неважное, выглядит на общем фоне как **особенное**, требующее уточнения, определения дополнительными признаками, а следовательно, **видовое**. Для носителя русского языка сыр — частый, нормальный продукт питания, брынза — экзотический, редкий. Для болгарина — наоборот: брынза (*сирене*) — ежедневный продукт, сыр (*кашкавал*) — сравнительно редкий, особенный. В этом и заложены предпосылки для установления различ-

ного места данных значений в общей иерархии лексико-семантических ценностей, в сети гиперонимо-гипонимических значений.

Показанное различие можно интерпретировать и в других терминах, в частности опираясь на методику компонентного анализа. В таком случае вся проблема сводится к взаимоотношению категориально-лексических сем (архисем, в терминологии В. Г. Гака) и сем дифференциальных. В частности, в русском языке значение слова *брынза* оказывается маркированным (на фоне значения слова *сыр*) такими дифференциальными семами, как: ‘соленый’, ‘(обычно) из овечьего молока’, ‘распространенный в южных регионах — Болгарии, Румынии, Греции и т. д.’, а также ‘белого цвета’, ‘рыхлый’ и т. п. В болгарском языке ситуация иная. Здесь при сопоставлении слов *сирене* и *кашкавал* второе обнаруживает в своей семантике такие дифференциальные компоненты, как: ‘продукт особый (импортный и т. п.)’, ‘пресный на вкус’, ‘желтого цвета’, ‘плотный’ и т. п. Эти маркирующие семы в совокупности и создают коннотацию «особенности», экзотичности, которая неизбежно приводит к трактовке данного понятия в конкретной культуре как видового, а соответствующей лексемы — как гипонима.

Пример второй — это русские слова *церковь* и *костёл* и соответствующие им польские лексемы *cerkiew* и *kościół*. Очевидно, в этом случае мы имеем дело с понятиями более отвлеченными, чем в предыдущем примере, а именно с понятиями, принадлежащими сфере общественных отношений и духовной жизни. Однако и в данном случае перед нами пример лексической квазиэквивалентности (а заодно и межъязыковой омонимии), потому что значение каждого слова обусловлено его местом в системе и, в частности, его положением в иерархии гиперонимо-гипонимических отношений. Установление же этой иерархии подчиняется некоторым общим закономерностям общественной жизни.

Приведем вначале, как и в предыдущем случае, словарные дефиниции.

Церковь — 1. Религиозная организация духовенства и верующих, объединенная общностью верований и обрядности. *Православная церковь. Католическая церковь...* 2. Здание, в котором происходит христианское богослужение [СРЯ IV: 644].

Костёл — Польский католический храм [СРЯ II: 113].

(Заметим, что словарь дает при слове *костёл* только значение «храм», т. е. здание, постройка, и не фиксирует значения «организация», которое проявляется в выражениях типа *отцы костёла* и т. п.)

Kościół — 1. Budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego... 2. Organizacja religijna, zwłaszcza chrześcijańska, grupująca wyznawców jednej religii bądź jej odłamu; Kościół katolicki, prawosławny, reformowany... [SJP I: 963].

Cerkiew — 1. Kościół obrządku prawosławnego lub katolickich obrządków wschodnich... 2. Organizacja kościelna tych wyznań... [SJP I: 229].

Как следует из словарных дефиниций, для русскоязычного сознания *костёл* — некоторая специфическая разновидность церкви. Для польского сознания, наоборот, *cerkiew* — гипоним, называющий определенный вид того, что по-польски называется *kościół*.

Таким образом, гиперонимо-гипонимические отношения как один из важнейших видов системообразующих связей в лексике оказываются не вполне объективными и безусловными, а, наоборот, зависимыми от системы взглядов данного социума, от общественной оценки данного явления на фоне других явлений. В том числе чрезвычайно важным фактором, участвующим в расстановке родо-видовых «акцентов», служит уже упоминавшаяся частота явления, его важность в общественной практике, в концептосфере данного народа. Эта частота и важность лежат в основе оценки явления как типичного, а соответствующего понятия — как общего, категориального. В описанном феномене, с одной стороны, проявляется самобытность языка, его независимость от окружающей действительности. С другой стороны, в нем можно увидеть несвободу языка, его связанность определенным типом культуры.

Рассмотренный материал дает основания говорить о том, что между сигматическим и семантическим аспектом знака (даже в отвлечении от остальных аспектов — синтактики и прагматики) существует некоторый баланс, определяющий особенности функционирования слова в речи. А взаимодействие этих видов информации в ходе развития слова приводит к их сближению или отдалению друг от друга.

Б. Ю. Норман
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
boris.norman@gmail.com

ЛИТЕРАТУРА

- РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език / Гл. ред. С. Романски. Т. I. София, 1955; Т. II. София, 1957; Т. III. София, 1959.
- СРЯ — Словарь русского языка в четырех томах / Гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд. М., 1981—1984.
- SJP — Słownik języka polskiego / Red. nauk. M. Szymczak. T. I. A—K. Warszawa, 1998.
- Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5—33.
- Апресян 1995 — *Апресян Ю. Д.* Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37—67.
- Гусев, Пушканский 1994 — *Гусев С. С., Пушканский Б. Я.* Обыденное мировоззрение: Структура и способ организации. СПб., 1994.
- Жинкин 1982 — *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- Клаус 1967 — *Клаус Г.* Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка. М., 1967.
- Мечковская 2005 — *Мечковская Н. Б.* Две картины мира: язык и обыденное сознание (информационная структура, делимитация границ и стереотипов) // Wyraz i zdanie

- w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przykład / Pod red. M. Sarnowskiego, W. Wysoczańskiego. Wrocław, 2005. С. 227—238.
- Морковкин, Морковкина 1997 — *Морковкин В. В., Морковкина А. В.* Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем). М., 1997.
- Моррис 1983 — *Моррис Ч. У.* Основания теории знаков // Семиотика / Сост. и ред. Ю. С. Степанов. М., 1983. С. 37—89.
- Норман 1996 — *Норман Б.* К проблеме обусловленности лексической классификации культурными факторами: гиперонимия и гипонимия // *Funkcjonowanie języka w różnych warunkach socjokulturowych i tekstowych. Mat-ly Międzynar. konf. naukowej.* 23—24 kwietnia 1996 r. Siedlce, 1996. С. 51—63.
- Супрун 1975 — *Супрун А. Е.* Проблема системности лексики // *Методы изучения лексики /* Под ред. А. Е. Супруна. Минск, 1975. С. 5—22.
- Уорф 1960 — *Уорф Б. Л.* Наука и языкознание // *Новое в лингвистике.* Вып. I. М., 1960. С. 169—182.
- Bogusławski 2008 — *Bogusławski A.* Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głoś demarkacyjny. Warszawa, 2008.
- Grochowski 1992 — *Grochowski M.* O metodzie wyjaśnienia struktury semantycznej nazw substancji naturalnych // *Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo.* Warszawa, 1992. S. 69—74.
- Ullmann 1951 — *Ullmann S.* Words and Their Use. NY, 1951.
- Vaňková 1999 — *Vaňková I.* Člověk a jazykový obraz (přírozeného) světa // *Slovo a slovesnost.* 60. 1999. S. 283—292.